

дзяржаўных моў нашай краіны, але і выразна атаясамліваецца з іншай (суседняй) нацыяй, культурай і літаратурай.

5. З улікам адзначанага ў сучаснай культурна-моўнай рэчаіснасці Рэспублікі Беларусь паняцці “беларуская літаратура”, “беларуская нацыянальная літаратура”, “беларускамоўная літаратура” “рускомоўная літаратура” “літаратура Беларусі” набываюць новы змест. Напрыклад:

Беларуская літаратура (= літаратура Беларусі) – сукупнасць усіх беларускамоўных, рускамоўных, польскамоўных і інш. твораў, створаных і апублікаваных у розныя перыяды на тэрыторыі Беларусі беларускімі (па месцы пражывання, а не нацыянальнасці) аўтарамі.

Нацыянальная беларуская літаратура – сукупнасць літаратурных твораў, якія напісаны на беларускай мове, беларускімі аўтарамі, адлюстроўваюць беларускую рэчаіснасць і беларускі нацыянальны светапогляд, а таксама частка іншамоўнай літаратуры Беларусі, якая мае выразны нацыянальна-культурны змест і адлюстроўвае нацыянальны светапогляд. Да беларускай нацыянальнай літаратуры неабходна адносіць і значную частку беларускамоўнай літаратуры беларускага замежжа з выразным нацыянальным зместам.

Беларускамоўная літаратура – творы, напісаныя на беларускай мове (у Беларусі і за яе межамі), а таксама пераклады на беларускую мову твораў замежнай літаратуры.

Рускамоўная літаратура (Беларусі) – творы, напісаныя на рускай мове беларускімі аўтарамі і выдадзеныя ў Беларусі, творы рускай нацыянальнай літаратуры, а таксама ўключаныя ў культурную прастору беларускага грамадства пераклады на рускую мову твораў замежнай літаратуры.

Менавіта з гэтых пазіцый павінна разглядацца месца і роля беларускамоўнай і рускамоўнай літаратуры Беларусі ў агульналітаратурнай і культурнай прасторы сучаснага беларускага грамадства і яе ўключэнне ў адукацыйны працэс.

**A.A. Lukashanets**

Center for Studies of Belarusian Culture, Language and Literature  
of the National Academy of Sciences of Belarus  
e-mail: [alukashanets@tut.by](mailto:alukashanets@tut.by)

### **National Language and National Literature: Belarusian Realities of Identification**

*Key words: national language, national literature, Belarusian literature, Belarusian-language literature, Russian-language literature.*

*In the article, from the standpoint of the Belarusian-Russian closely related bilingualism and the phenomenon of bilingual literary practice, the linguistic criterion for the national identification of works of fiction is examined, as well as the essence and content of the concepts “national language”, “national literature”, “Belarusian literature”, “Belarusian-language literature”, “Russian-language literature” etc.*

**И.Б. Ничипоров**

Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова  
e-mail: [il-boris@yandex.ru](mailto:il-boris@yandex.ru)

УДК 82.091

### **АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ ДИАПАЗОНЫ В СТАТЬЯХ С.Н.БУЛГАКОВА О РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ**

*Ключевые слова: русская литература, религиозно-философская критика, Серебряный век, Русское Зарубежье, христианское осмысление искусства.*

*В статье представлено малоизученное литературно-критическое наследие С.Н.Булгакова. Проанализированы проблематика, композиционное и стиливое своеобразие его статей о Пушкине, Достоевском, Толстом, Чехове, Карле Марксе.*

Личность Сергея Николаевича Булгакова (1871 – 1944) – православного священника, мыслителя, богослова, общественного деятеля – была весьма многогранной [1]. Его литературная одаренность, чуткость к художественному слову проявились в многочисленных и разнообразных по тематике, жанру философских, публицистических, литературно-критических работах, а также в публичных лекциях, выступлениях, проповедях.

В наследии Булгакова статьям о русской литературе (тексты статей С.Н.Булгакова приводятся по: [http://az.lib.ru/b/bulgakow\\_s\\_n/](http://az.lib.ru/b/bulgakow_s_n/)) не принадлежит центрального места, однако, создававшиеся в разные десятилетия, они вошли в контекст религиозно-философской критики Серебряного века и эмиграции, отразили искания значительной части творческой интеллигенции первой трети XX в. и стали свидетельством о духовной эволюции их автора. Осмысление религиозных устремлений

русских писателей, персонажей их произведений выводит у Булгакова к постижению аксиологических диапазонов художественного творчества, а также к самопознанию в пространстве истории, современности и вечности.

*Аксиологический подход к литературе, творческой индивидуальности художника* обозначается уже в ранней статье «Чехов как мыслитель» (1904), созданной на материале публичных лекций о Чехове в Ялте и Петербурге. основополагающими в размышлениях о личности художника становятся у Булгакова *интуиции о Божественном даре, суде совести, духовной жизни писателя*: «Мы подходим к Чехову со стороны общечеловеческой, обращаемся к нему не только как к художнику, одаренному Божественным, но и опасным, могучим, но и ответственным даром искусства, а как к человеку, ответственному пред тем же великим и страшным судом совести, одержимому теми же муками, сомнениями и борениями, что и мы, и лишь особым, ему одному свойственным способом выражающему их в художественных образах».

Подхватывая суждение позднего Толстого о том, что мыслитель и художник не могут безмятежно пребывать на «олимпийских высотах» своих эстетических озарений, но «должны страдать вместе с людьми», Булгаков, вопреки расхожим в критике рубежа веков утверждениям о чеховской «безыдейности», вписывает его в ценностную парадигму русской литературы – «философской *par excellence*», высветляет в созданных им произведениях «искание правды, Бога, души, смысла жизни» и, самое главное, «русское искание веры», порожденное «тоской по высшему смыслу жизни, мятущимся беспокойством русской души и ее больной совестью».

В поле пристального внимания критика попадают прежде всего те чеховские рассказы, повести, драмы, где течением будней испытывается то теплящееся, то угасающее религиозное чувство героев. «Скучная история» и «Иванов», «Студент» и «Дядя Ваня», «Три сестры» и «Палата № 6», «крестьянские» произведения («Святою ночью», «Мужики», «В овраге») не просто поднимают «вопрос о нравственной слабости, бессилии добра в душе среднего человека», воссоздают порой «историю религиозного банкротства живой и благородной человеческой души», но и сквозь бессодержательные, случайные разговоры и поступки запечатлевают исповедальное самораскрытие духовно погибающих, потерявших Бога персонажей. В калейдоскопе разнообразных судеб литературных героев Булгаковым прорисовывается парадоксальный *духовный портрет автора* – «вдумчивого экспериментатора», являющего «веру тоскующую, рвущуюся и беспокойную, но, однако, по-своему крепкую и незыблемую». *Критик произвольно становится художником*, когда в статье описывается, как «сумрачный мир, изображаемый Чеховым, освещается им ровным и ласковым светом», а сердце писателя «истекает кровью от сострадания». В виде развернутой метафоры передаются порывы чеховских интеллигентов и простолюдинов к истинной вере с «намеком на затаенные мысли и чаяния... самого автора»: «Говорят, что в морских глубинах живут растения, никогда не видящие солнца, и, однако, как и все живое, они живут только солнцем, без него они не могли бы и появиться на свет и просуществовать одного дня, хотя как легко и как, казалось бы, убедительно они могли бы отрицать существование солнца. Такими подводными растениями являются и многочисленные персонажи Чехова. Он дает только чувствовать солнце, и лишь изредка стыдливо и как бы невзначай, обычно от третьего лица, Чехов прямо говорит о нем – только в виде исключения, золотой луч несмело блеснет и тотчас же погаснет на дне оврага».

Неожиданным, но оправданным в художественно-философском дискурсе булгаковской статьи оказывается сопоставление авторской эмоциональности в произведениях Чехова с «мировой скорбью» романтических героев Байрона: «Как и у Байрона, основным мотивом творчества Чехова является скорбь о бессилии человека воплотить в своей жизни смутно или ясно сознаваемый идеал; разлад между должным и существующим, идеалом и действительностью, отравляющий живую человеческую душу, более всего заставлял болеть и нашего писателя. Но если у Байрона мотивом разочарования является, так сказать, объективная невозможность осуществить сверхчеловеческие притязания, стать человекобогом не в желании только, а и в действительности, если здесь человек почувствовал внешние границы, дальше которых не может идти его самоутверждение, то Чехов скорбит, напротив, о бескрылости человека, об его неспособности подняться даже на ту высоту, которая ему вполне доступна, о слабости горения его сердца к добру, которое бессильно сжечь наседающую пену и мусор обыденщины. Байрон скорбит о невозможности полета в безграничную даль, Чехов – о неспособности подняться над землей». Соединив исторический план с надвременным смыслом поисков Бога, Чехов, по Булгакову, предвидел опасность «сверхчеловечества» и «человекобожества», полагал, что «загадка о человеке может получить или религиозное разрешение, или... никакого», и неявным образом стал «социальным пророком своего времени, будителем общественной совести», поставил «неблагоприятный диагноз духовного состояния интеллигенции». В финальных аккордах статьи уход Чехова «в тяжелую, чреватую грядущими со-

бытиями году» воспринимается как символическое знамение «дня исторического суда», когда «срываются маски, обнажается добро и зло во всей своей противоположности».

Созданию развернутого *духовного и социального портрета литературного персонажа* посвящена статья «Иван Карамазов как философский тип» (1901). Булгаков как критик, мыслитель, художник идет по пути глубокого проникновения в образную ткань романа Достоевского. Искусно оперируя текстовым материалом, выстраивая из него самобытное здание религиозно-философской концепции, автор статьи «вживается» в психологическую материю переживаний персонажа, отчасти «принимает» его взгляд на мир. Изнутри этого знакомого бывшему марксисту опыта философского атеизма Булгаков выявляет, как в герое Достоевского разворачивается борьба атеистического аморализма и нравственных мук за убийство отца, как он болеет «вопросом о происхождении и значении зла в мире и разумности мирового порядка», «жадно ищет веры», «с честной неустранимостью и с жестокой последовательностью» осознает, что «критерий добра и зла... не может быть получен без метафизической или религиозной санкции».

Сопоставления героя Достоевского с байроновским Каином, Фаустом, Ницше, интерпретация «Легенды о великом инквизиторе» как «важнейшего документа для характеристики души Ивана» и иллюстрации «чисто русской манеры художественного трактования образа Христа», примечательная параллель с тургеневским стихотворением в прозе «Христос» позволяют ощутить, как «в маленьком городе, где живут Карамазовы, бьется пульс мировой мысли» – о богочеловеческой личности Христа, даровавшего «основной завет... о равном достоинстве всех людей как нравственных личностей и о любви к этим людям как носителям одного и того же Божественного начала».

Композиционная второстепенность образа Ивана, которому сюжетно в романе «не принадлежит... никакого действия», оттеняет, как доказывает Булгаков, обобщающее значение исканий и прозрений этого «скептического сына эпохи социализма», высветившего религиозно-нравственные доминанты русской культуры и философской мысли, которые определяются «болезнью совести». В Иване Булгаков разглядел во многом провиденциальный, актуализированный предреволюционной эпохой, собирательный портрет русской интеллигенции: «Иван есть русский интеллигент, с головы до ног, с его пристрастием к мировым вопросам, с его склонностью к затяжным разговорам, с постоянным самоанализом, с его большой, измученной совестью».

*Перипетии отношений человека со Христом* увидены Булгаковым как главный сюжет романа «Бесы», названного им «символической трагедией» и «книгой о Христе» (статья «Русская трагедия», 1914). Рельефно выведенные портреты центральных персонажей этого произведения «о русском Христе и о борьбе с Ним» предстают в интерьере евангельского образного и событийного ряда: «Христос или гадаринская бездна – вот религиозный смысл трагедии, вот ее правда, ее проповедь». Ставрогин – «актер», «медиум», «провокактор», капитулировавший перед «духом небытия» и предвосхищающий явленное позднее в «Петербурге» Белого «медиумическое состояние души, ее одержимость темными силами из иных «планов» бытия, иных миров»; Кириллов, погружившийся в «религиозные бездны человеческого духа»; «уже исцеляющийся» и «судорожно припавший к ногам Иисусовым» Шатов; охваченный «самобожеским самочувствием» «великий инквизитор» Верховенский – выступают в трактовке Булгакова как сознательные или стихийные участники революции, являющейся прежде всего не фактом общественно-политической истории, но «религиозной драмой», основанной на «борьбе веры с неверием, столкновении двух стихий в русской душе», на противостоянии «святой Руси» «царству карамазовщины». Индивидуальность автора романа переносится Булгаковым из литературного в надысторический план и художественно постигается в образе лично предстоящего Богу библейского пророка: «Достоевский приносил в этом романе покаяние за свою родину, по образу боговидца Моисея, который преколовил Богу, спора за народ свой».

В 1910 – 1912 гг. Булгаковым был написан цикл статей о личности, учении и творчестве Л.Толстого.

Сквозным сюжетом состоящего из трех разделов очерка 1910 г. «Л.Н.Толстой» («На смерть Толстого», «Толстой и Церковь», «Человек и художник») становятся *коллизии расхождений и столкновений проповедника и творца в личности художника*. Образная экспозиция, рисующая посмертное «возвращение» Толстого в материнское лоно родной земли, предваряет раздумья о том, что в нем выразила себя «первобытная душа русской природы и русского народа». Шемящие воспоминания о лично пережитых автором чувствах от участия в яснополянском нецерковном погребении наполняют статью исповедальным звучанием («всю эту горечь и боль я испытал сам, идя за гробом Толстого»), побуждают воспринять все происходящее не только в трагическом свете, но и как «горький урок правдивости и последовательности» в исканиях Толстого, нуждающегося теперь в уединенной молитве за него. Неумной внутренней силой заряжен у Булгакова духовный портрет «умирающего Льва», который был застигнут «смертью в пути», но «не изнемог до конца», по-

скольку «величие религиозной личности Толстого, но вместе и ее противоречивость и незавершенность, именно и выражается в том, что сам он никогда не мог успокоиться и установиться на своем учении, но постоянно выходил за его узкие рамки... Сам Толстой... никогда не вмещался в толстовство... Оно было для него временной формой успокоения, камнем под изголовьем, условным символом веры, сам же он продолжал жить во всю ширь своей личности... В нем, кроме догматического вероучителя, жил дивный прозорливец искусства, томился огненный дух, вечно мятущийся, вечно трепетный и вопрошающий».

Религиозный эклектизм и «просветительский» рационализм толстовства, непризнание богочеловеческой личности Христа и особенно отвержение Церкви отразили, по убеждению Булгакова, нигилистические и анархические стихии русской души, но в то же время заостряли внимание на фундаментальных проблемах личной совести и ответственности христианина, религиозного оправдания культуры, государства. Испытывая «подпочвенное», до болезненности противоречивое притяжение к Церкви, Толстой в своем учении «оттолкнулся не только от Церкви, но и от нецерковности нашей жизни, которой мы закрываем свет церковной истины». Булгаков соотносит пути творческих и духовных поисков Толстого и Гоголя и выходит к *обобщениям о психологических аспектах творчества, его религиозной составляющей*, о художнике как «ясновидце иного мира». Судьбы Толстого и Гоголя, переживших «религиозный кризис в жизни и искусстве», на определенном этапе ведших борьбу со своим творческим даром, приоткрывают исполненное «непреходящего религиозного смысла» «величественное зрелище самопожирания художественного гения», *тайну житнетворческой миссии искусства*: Толстой «своей жизнью, освещаемой ослепительным рефлектором небывалой мировой славы, своей религиозной драмой... дал людям нечто более захватывающее и поучительное, чем все его великие художественные произведения и все его богословские трактаты, дал – свою жизнь».

Христианское осмысление толстовской идеи «опрощения» развернуто Булгаковым в статье «Простота и опрощение» (1912). Различая социальный, религиозный, догматический аспекты этого учения, Булгаков признает в нем выражение, хотя и в искаженном виде, «общей христианской тоски о новой земле под новым небом, под которым правда живет», устремленность к превозмоганию личной греховности и общественной неправды, назревшее обострение проблемы аскетизма, «заглохшей в общественном сознании в наш век утилитаризма, эвдемонизма и материализма». Но христианская идея покаяния человека перед Богом подменяется здесь «фарисейской самоправедностью, умыванием рук неучастием», противоречивой «опрощенческой» трактовкой аскетизма: «Как религиозный мотив опрощение недостаточно аскетично, ибо оно есть в конце концов рецепт наилучше устроиться на земле, рационально обмирщиться, а как мотив религиозной философии истории оно чрезмерно аскетично, ибо объявляет неестественным или противоестественным все историческое развитие и для всей почти истории находит лишь слова осуждения и гнева».

Статья «Человекобог и человекозверь» (1912) обращена к осмыслению поздних повестей «Дьявол» и «Отец Сергей» с точки зрения произошедшего в их образно-смысловом пространстве конфликтного пересечения христианской антропологии и толстовской «религии самоправедности и самоспасения разумом и разумным поведением». Декларируемая толстовством вера в «естественного» человека подрывается здесь художественными прозрениями о метафизике зла, ибо Толстой «слишком глубоко заглянул в человеческую душу... чтобы совершенно отвергать силу греха». В интерпретации Булгакова оба произведения наполнены «воплем религиозного отчаяния и сомнения», доходящим до, казалось бы, чуждой Толстому «андреевщины», с ее «ужасом жизни и ужасом перед жизнью». В «Дьяволе» автор достигает крайней безысходности в изображении греховных падений персонажей, а в «Отце Сергии» сосредоточенность на центральном герое, который «изнемогает от холода себялюбия», страдает от «затаенной боли и муки религиозного бессилия», оборачивается выхолащиванием подлинного смысла его церковного служения, ибо «через мантию монаха здесь слишком просвечивает всем известная блуза... При всей православной внешности о. Сергия из него удалены все действительные элементы православного старчества».

В контексте размышлений об антихристианских тенденциях современной культуры, общественной мысли примечателен очерк Булгакова «Карл Маркс как религиозный тип» (1906). Создание духовного портрета Маркса обусловлено заинтересованностью Булгакова как мыслителя, в прошлом глубоко увлеченного марксизмом, в том, чтобы «определить действительный религиозный центр в человеке, найти его подлинную душевную сердцевину», понять «религиозную природу современного социализма». Булгаков прослеживает, как по мере вызревания марксистской концепции, ее все более радикального противопоставления гегельянству становилось очевидным характерное для Маркса восприятие людей как «алгебраических знаков», элементов социологических построений, его целенаправленное стремление «излечить» их от религии, «зашнуровать жизнь и историю в ломающий ребра социологический корсет», поскольку для религиозного опыта

первичен именно «вопрос о ценности *моей* жизни, *моей* личности, *моих* страданий, об отношении к Богу индивидуальной человеческой души, об ее личном, а не социологическом только, спасении» (Выделено С.Н.Булгаковым). Сопряженная с «воинствующим атеизмом» «теневая сторона Марксова духа» вызвала богоборческую в своем основании экспансию марксизма из ограниченной области политэкономической теории к построению универсальной философии истории.

Вершиной многолетних литературоведческих штудий Булгакова стала его поздняя статья о Пушкине («Жребий Пушкина», 1937), связанная с идеями религиозно-философской пушкинианы Серебряного века и Русского Зарубежья (В.Соловьев, Д.Мережковский, И.Ильин, С.Франк и др.). Звенья духовной и творческой биографии поэта выстраиваются Булгаковым в виде *антиномий сакрального и профанного начал в устремлениях человека и художника*. Подобный антиномичный подход избавляет размышление о поэте как от его «канонизации», так и от сведения творческого процесса к социологическим мотивировкам. «Предстояние перед Богом в служении поэта», «самоткровение русского народа и русского гения», «зрячесть ума» сочетались у Пушкина со стихийностью, «распушенностью русского барства»; христианское мироощущение – с парадоксальной «невстречей» с Оптиной пустыней, Тихоном Задонским, Серафимом Саровским; драматичное «смещение духовного центра», иссякание «духовного источника творчества» после женитьбы – с «преображением его духовного лика» на пороге смерти... В судьбе поэта проступают, по Булгакову, таинственные грани, разделяющие жизнь и искусство, вечность и время: «В трагедии Пушкина обнаружилась вся недостаточность для *жизни* только одной поэзии, ибо писатель, даже гениальный, еще не исчерпывает и не определяет собой человека. В истории дуэли и смерти Пушкина мы наблюдаем два чередующихся образа: разъяренного льва, который может быть даже прекрасен, а вместе и страшен в царственной львиности своей природы, и просветленного христианина, безропотно и умирно отходящего в покой свой» (Выделено С.Н.Булгаковым).

Итак, статьи С.Булгакова о русской литературе являют органичное соединение аналитического и художественного путей освоения духовной биографии художника, образного мира его произведений. Постигая онтологическую природу творчества, Булгаков вглядывается в перепутья религиозных исканий писателей и их персонажей, при этом понимает веру как тревожный, мучительный, но спасительный в своих вершинных проявлениях путь к богочеловеческой личности Христа. Охватывающие широкие горизонты культуры, духовной, общественной жизни минувшего столетия, работы Булгакова стали выдающимся плодом религиозно-философской мысли об искусстве и литературе.

I. B. Nichiporov

Moscow state University

e-mail: [il-boris@yandex.ru](mailto:il-boris@yandex.ru)

#### **Axiological ranges in the articles of S. N. Bulgakov about the Russian literature**

*Key words: Russian literature, religious and philosophical criticism of the Silver age, the Russian Diaspora, the Christian understanding of art.*

*The article presents the little-studied literary-critical heritage S. N. Bulgakov. Analyzed issues, compositional and stylistic originality of his articles on Pushkin, Dostoevsky, Tolstoy, Chekhov, Karl Marx.*

Т.П. Слесарева

Витебский государственный университет имени П.М. Машерова

e-mail: [slestp@yandex.ru](mailto:slestp@yandex.ru)

УДК 821.161.1-93.09

#### **СОВРЕМЕННАЯ ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА КАК СРЕДСТВО НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ (на примере повестей Дмитрия Емца о Мефодии Буслаеве)**

*Ключевые слова: современная детская литература, нравственное воспитание, духовные ценности, моральные принципы.*

*Вопросы нравственного воспитания человека волновали общество во все времена. Литература не только формирует у подростков определенные знания, умения, навыки, но и помогает их нравственному становлению, приобретению моральных, этических жизненных принципов. В статье на примере повестей Дмитрия Емца о Мефодии Буслаеве показана роль детской литературы в системе нравственного воспитания современного ребенка.*

Одним из важнейших компонентов регуляции отношений между людьми выступает нравственность. Ценностные ориентации формируются в течение всей жизни, однако наиболее важным